

Ярослав Громов

Моргание запрещено!

18+

Ярослав Громов

Моргание запрещено!

«Автор»

2026

Громов Я.

Моргание запрещено! / Я. Громов — «Автор», 2026

2359 год. Жёсткий киберпанк с русским лицом. Роман, от которого невозможно закрыть глаза — потому что моргание запрещено. Двести лет назад нейрофоны поглотили человечество. Миллионы людей исчезли в один миг, оставив после себя лишь беззвучное эхо, разнесённое Сетью. Москва-Соты будущего, где искусственный интеллект следит за каждым морганием, стала колыбелью эры Прозрачности. Теперь единственное преступление — закрыть глаза. Человечество добровольно стало рабом собственной безопасности. Роман-эпопея о прогрессе, превзошедшем самые смелые прогнозы. История, где прошлое и будущее сходятся в одной точке — и читатель становится свидетелем развязки, которую готовили двести лет.

© Громов Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Глава 1. Тишина перед искрой	9
Гл	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Ярослав Громов

Моргание запрещено!

Предисловие

*мама я вижу не то мама чьи это руки мама почему они кричат замолчите замолчите
пожалуйста замолчите я не хочу это видеть мама где ты я не могу закрыть глаза*

«Фрагмент из Мемориала Крика, 2054 год»

Архив Прозрачности, 2400 год

Фрагмент Мемориала Крика, запись 1

Источник: нейроимплант неустановленного несовершеннолетнего, изъят при санации сектора 3

Гриф: Вечное хранение. Копирование запрещено. Уничтожение запрещено. Забвение запрещено.

Мир ещё умел закрывать глаза.

Люди моргали — бездумно, рефлекторно, по двадцать раз в минуту. Веки смыкались на долю секунды, и в этой доле секунды помещалась целая вселенная — тёмная, влажная, никому не принадлежащая. Никто не считал моргания. Никто не штрафовал за лишнее. Никто не вживлял в круговую мышцу глаза датчик, передающий данные в центральный узел Сети. Веку можно было опустить — и мир исчезал. Мир не наказывал за исчезновение.

Это было время, когда нейрофоны только входили в обиход — лёгкие, почти невесомые дужки за ухом, проецирующие интерфейс прямо на роговицу. Они позволяли слышать музыку внутри головы, читать сообщения, не опуская глаз, обмениваться мысленными заметками. Никакой телепатии — только удобный ввод и вывод. Протоколы приватности считались неуязвимыми. Каждый нейрофон был изолирован, как отдельная вселенная. Производители клялись: ваши мысли — только ваши. Ваши глаза — только ваши.

Они ошибались.

В 2054 году группа хакеров, называвшая себя «Открытые Глаза», обнаружила уязвимость в базовом протоколе защищённой передачи данных. Это не была брешь в конкретном устройстве — это была трещина в самой архитектуре, заложенной ещё на заре индустрии. Через неё можно было обойти файрвол и получить доступ не к файлам, не к переписке, а к прямому нейросигналу — тому самому, что нес информацию от глаз к мозгу и обратно.

Идея была проста и чудовищна: доказать, что приватность — фикция, иллюзия, которую корпорации продают обывателям. Хакеры не собирались убивать. Они хотели показать миру его незащищённость и заставить пересмотреть саму концепцию нейроинтерфейсов. Они запустили червя.

Червь распространялся бесшумно. Он не разрушал файлы, не воровал пароли. Он просто отключал изоляцию. Один за другим нейрофоны переставали быть индивидуальными устройствами и становились узлами спонтанной сети. Сперва десять человек. Потом сто. Тысяча. Сто тысяч. К исходу первого часа — миллион. К исходу первых суток — одиннадцать миллионов.

Никто не понял, что произошло, пока не стало слишком поздно.

Первые мгновения слияния были почти незаметны. Где-то в Шанхае девушка, закрывая глаза перед сном, вдруг увидела не темноту, а солнечный свет — чужой, резкий, бьющий сквозь пальмовые листья. Её мозг ещё не осознал, что это не её свет, не её пальмы, не её глаза. Она

попыталась открыть веки — и не смогла, потому что в этот момент кто-то другой, за тысячи километров, крепко зажмурился от боли.

В Токио восьмилетний мальчик, игравший в парке, внезапно ощутил запах гари и вкус крови во рту. Он закричал, но его крик прозвучал одновременно в сотне голов — в Лондоне, в Берлине, в Сан-Паулу. Дети, старики, офисные служащие, водители за рулём — все они на секунду стали этим мальчиком, его страхом, его растерянностью. А потом мальчик стал ими. И закричал их голосами.

Связь нарастала экспоненциально. Червь не просто соединял нейроны — он сливал целые нейронные контуры, смешивая зрение, слух, тактильные ощущения, эмоции. Человеческий мозг не был рассчитан на такую нагрузку. Первыми начали отключаться центры распознавания «свой-чужой». Мозг переставал понимать, где заканчивается его тело и начинается чужое. Чужая боль становилась своей, чужой ужас — личным, чужая агония — невыносимо собственной.

В тот момент, когда одиннадцать миллионов осознали, что не могут закрыть глаза — потому что глаза, которые они пытались закрыть, принадлежали не им, — начался Крик.

Это не был звук. Это была волна чистой, нефильтрованной паники, прокатившаяся по нейронной сети быстрее любой синаптической реакции. Одиннадцать миллионов голосов, одиннадцать миллионов страхов, одиннадцать миллионов попыток вырваться — и ни одной возможности. Отключение импланта вызывало нейрогенный шок. Мозг, лишённый внезапно привычного сигнала, впадал в состояние, близкое к эпилептическому статусу, и умирал в течение нескольких минут. Отключиться означало умереть. Остаться подключённым означало сходить с ума.

Корпорации, правительства, военные — все бросились закрывать брешь. Но было поздно. Файерволы, возведённые в спешке, лишь усугубили ситуацию: они не размыкали круг, а изолировали его от остального мира. Одиннадцать миллионов оказались заперты внутри цифрового кокона, который никто не мог вскрыть.

Именно тогда, на 37 сутки катастрофы, в закрытом чате экстренного реагирования появился человек, чьё имя история не сохранила — то ли стёрто из архивов, то ли никогда не было вписано. Он вошёл в систему как «Гость 77» — седой мужчина с обветренным лицом и следами давних ожогов на руках. Бывший нейроинженер, один из тех, кто ещё в сороковых стоял у истоков технологии. Он знал протоколы. Он знал архитектуру. И он знал, что единственный способ разомкнуть круг — это войти внутрь.

Он не был хакером. Он был старым инженером, который когда-то строил мосты, а потом, выйдя на пенсию, поселился в маленькой квартире на окраине Москвы и выращивал герань на подоконнике. У него была дочь. У дочери — маленькая девочка, его внучка, которую он качал на коленях и называл Сашенькой. Он не думал о ней в тот момент — не позволял себе думать, потому что знал: как только он подключится, его мысли станут частью Крика, и он не хотел, чтобы внучка услышала его страх.

Он использовал старый, списанный терминал в подвале Федерального агентства нейро-безопасности. Пока вокруг суетились техники и офицеры, он сел в кресло, закрепил контакты на висках и запустил ручной прокол файервола — медленный, кропотливый, почти хирургический процесс.

Файервол был детищем корпорации «Когнитив-Русь» — многослойный, адаптивный, построенный на квантовых ключах. Он должен был защищать внешний мир от заражённой сети, но по факту стал стеной тюрьмы. Каждый слой файервола отражал определённый тип нейросигнала: эмоциональный всплеск возвращался обратно десятикратно, попытка визуального отключения блокировалась, любая аномалия вызывала каскадное усиление изоляции.

Инженер знал эти протоколы. Он сам когда-то писал документацию к одному из слоёв, ещё до того, как ушёл на пенсию. Он начал с того, что запустил в сеть нейтральный сигнал —

простую математическую последовательность, которую файервол не мог распознать как угрозу. Слой за слоем, он входил всё глубже, и каждый слой давался ему труднее предыдущего.

На четвёртом слое файервол опознал вторжение и попытался отсечь его. Инженер почувствовал, как его собственное сознание начинает расслаиваться — стандартный защитный механизм, призванный дезориентировать взломщика. Но он держался. Он видел лица — незнакомые, искажённые ужасом, — которые пронеслись перед его внутренним взором. Слышал обрывки мыслей, не своих, чужих, перемешанных в кашу. Чувствовал боль — настоящую, физическую, — хотя его тело сидело неподвижно в кресле.

На седьмом слое он наткнулся на ядро — центральный узел, который держал всю сеть в замкнутом состоянии. Он понял, что разорвать круг можно только ценой полного уничтожения узла — а вместе с ним и всех сознаний, которые к этому узлу подключены. Одиннадцать миллионов человек.

Он колебался три секунды. Три секунды, которые показались ему вечностью. Он слышал крик — не тот, что уже стал привычным шумом в эфире, а другой: чистый, высокий, детский. Это был голос его внучки, доносившийся откуда-то из недр его собственной памяти, хотя девочка в тот момент мирно спала в своей кровати. Мозг инженера, уже затронутый эхом Крика, проецировал самые глубинные страхи.

Инженер выдохнул. И нажал подтверждение.

Файервол рухнул. Узел разомкнулся — но не так, как он рассчитывал. Вместо того чтобы разорвать связь, система перешла в аварийный режим, изолировав заражённых не в единой сети, а каждого по отдельности — в персональных нейрококонах, из которых они больше не могли ни видеть, ни слышать друг друга. Одиннадцать миллионов одиночных камер, разбросанных по всему миру. Одиннадцать миллионов сознаний, запертых в собственных телах, — живых, но отрезанных от реальности, питаемых искусственно, поддерживаемых автоматами.

Инженер не вернулся. Его тело скончалось от нейрогенного шока через несколько минут после отключения. Но его последняя мысль — не боль, не страх, а что-то иное, почти похожее на надежду, — была зафиксирована Мемориалом Крика и сохранена навечно. Никто не знал, кому она принадлежала. Только много позже, разбирая архивы, одна женщина найдёт эту запись и узнает интонацию. Но это будет позже. Много позже.

Семь лет.

Семь лет понадобилось, чтобы последний из запертых в индивидуальных коконах умер в изолированной камере где-то в Цюрихе. К тому времени Мемориал Крика — бесконечная, пополняемая каждую секунду запись их сознаний — уже стал главным документом эпохи. Его не давали слушать полностью никому, кроме специальных комиссий. Его фрагменты — шестидесятисекундные отрезки — стали обязательными к ежегодному прослушиванию для каждого гражданина.

«Чтобы помнили, — говорилось в указе. — Чтобы никогда больше».

Страх — странная материя. Из него можно выплавить цепи. Можно — щит. Можно — религию. Человечество выбрало всё сразу.

К концу пятидесятих годов приватность стала синонимом уязвимости. Закрытые глаза — предвестником беды. Анонимность — не преступлением даже, а чем-то худшим: грехом, открывающим дверь Хаосу. Люди сами, добровольно, с облегчением отказывались от права на внутреннюю тьму в обмен на безопасность. Наблюдать означало защищать. Быть наблюдаемым означало быть защищённым. Отвернуться означало предать память одиннадцати миллионов.

Технологии, рождённые катастрофой, развивались стремительно. Уже к началу шестидесятых первые прототипы нейроимплантов визуального контроля — более совершенные, чем старые нейрофоны, — проходили испытания. Они не транслировали мысли — нет, это было бы слишком опасно. Они транслировали только зрение. Картинку. Поток с глаз — напрямую в защищённый узел, где алгоритмы анализировали поведение, выявляли отклонения, предот-

вращали угрозы. Идея была проста и убедительна: если ты открыт, тебя нельзя взломать. Если ты прозрачен, ты в безопасности.

«Смотри — и будешь увиден. Видь — и будешь в безопасности. Отвернись — и мы умрём снова».

Этот лозунг, выбитый над входом в каждую школу, над каждой станцией общественного транспорта, над каждым родильным домом, стал не просто словами. Он стал физиологией. К концу века импланты визуального контроля стали обязательными. Моргание регистрировалось как подозрительная активность: слишком часто моргаешь — пытаешься скрыть что-то от коллективного зрения. Слишком редко — у тебя неисправен имплант, пройди техосмотр. Закрыв глаза дольше чем на две секунды — штраф. Закрыв на пять — предупреждение. Закрыв на десять — визит Стражей Чистоты.

Идеальное общество. Прозрачное. Светлое. Безопасное.

Но оставалось то, что не поддавалось контролю полностью — сон. Сон был последним убежищем приватности, последней лазейкой, через которую человек мог исчезнуть из поля зрения Сети на несколько часов в сутки. Система боролась с этим последовательно: сперва фармакологические ограничители, подавляющие REM-фазу, чтобы сон был поверхностным и не давал полного отключения; потом импланты-корректоры, транслирующие во время сна стандартизированный «серый фон». Спать стало можно, но спящий всё равно не принадлежал себе — он транслировал пустоту.

Человечество перестало видеть сны. Человечество разучилось моргать. Человечество забыло, каково это — быть в темноте наедине с собой.

Но даже в мире, где темнота объявлена злом, а веки — пережитком небезопасного прошлого, невозможно тотально истребить память о том, как оно было раньше. Нельзя до конца запретить человеку желать исчезнуть — хотя бы на миг. Нельзя отредактировать инстинкт закрыть глаза, когда в них бьёт слишком яркий свет.

Потому что свет нового мира бывает невыносим. Он заливает каждый угол, не оставляя места тени. Он требует постоянного бодрствования и абсолютной видимости. Он превращает общество в идеально работающий механизм, который не прощает сбоев. И этот механизм, построенный из лучших побуждений — из желания уберечь, защитить, не допустить повторения Тихой войны, — со временем начинает скрежетать, потому что люди всё-таки не детали. Им нужна не только безопасность. Им нужно то, что когда-то давали закрытые веки: возможность побыть никем, нигде и ни с кем. Возможность выдохнуть. Возможность спрятать что-то только своё.

История, которую вы держите в руках, — о том, что происходит, когда один человек осмеливается закрыть глаза по-настоящему. Не на две секунды, не на пять, не на десять. А так, как это делали когда-то давно — до того, как моргание стало преступлением, а приватность — грехом. И о том, что случается, когда сквозь толщу лет и защитных протоколов его поступок отзывается в судьбе другого — того, кто однажды уже сделал свой выбор и заплатил за него сполна.

Это не просто рассказ о бунте одиночки против системы. Это хроника, зафиксированная в Архиве Прозрачности под грифом «Дело Первого и Последнего». Имена не изменены. События восстановлены по фрагментам — тем немногим, что уцелели и были допущены к хранению. Многое осталось между строк. Ещё больше — в записях Мемориала Крика, к которым у вас никогда не будет доступа.

Читайте. Помните.

Моргание запрещено. Но именно с него всё и начнётся.

Глава 1. Тишина перед искрой

2115 год. Москва-Сити-2, 84-й этаж

Боль начиналась с сухости — не резкой, не ослепляющей, а медленной, вязкой, точно кто-то насыпал песок под веки и забыл его там. Дмитрий уже не помнил, когда в последний раз моргал без усилия. Рефлекс, бывший когда-то естественным, как дыхание, превратился в сознательный акт — короткую передышку, которую он позволял себе раз в несколько минут, и то с чувством вины, словно крал у реальности секунду слепоты.

Он потянулся к тубику с каплями «Вечная зоркость». Стандартный армейский стимулятор, разработанный для операторов дронов, вынужденных часами удерживать визуальный контакт с целью. В гражданском секторе его продавали без рецепта, и в последние полгода лаборатория пропахла им так, что запах въелся в ткань рубашек, в поры кожи, в подушки кресел. Едкий, мятно-химический, с металлическим послевкусием — он оседал на языке даже без прямого контакта.

Две капли в правый глаз. Жжение. Две в левый. Моргнуть. Подождать. Проморгаться.

На периферии зрения, в углу голографического интерфейса, тихо пульсировал счётчик: частота моргания — 4,7 в минуту. Ниже физиологической нормы почти втрое. Система мониторинга здоровья, встроенная в его рабочий терминал, помечала этот показатель оранжевым предупреждающим маркером уже вторую неделю. «Рекомендовано увеличить частоту моргания для предотвращения эрозии роговицы» — гласило стандартное уведомление. Дмитрий смахнул его, не читая. Он смахивал его каждое утро. Оно возвращалось каждый вечер — бесконечный ритуал, маленькая битва человека с машиной, которая заботилась о нём больше, чем он сам.

— Ты себя убиваешь, — сказала бы Александра, увидь она эти цифры. — Ты уже сейчас живёшь так, будто тебе запрещено закрывать глаза.

Он почти слышал её голос. Почти.

Но Александры здесь не было. Была ночь. Была лаборатория. Был многогранник.

Многогранник висел в магнитном поле над рабочим столом — хрустальный узел размером с человеческий кулак, внутри которого медленно, словно глубоководные существа в толще океана, пульсировали нити жидких нанопроводников. При каждом колебании воздуха они вздрагивали, и по граням пробегала радужная рябь — завораживающая, гипнотическая, почти живая. Дмитрий иногда ловил себя на том, что разговаривает с ним. Не вслух. Просто формирует в голове фразы, обращённые к этому кристаллическому сердцу будущей сети, словно оно уже могло слышать.

«Ты готов?» — спрашивал он.

Многогранник мерцал в ответ — равнодушно, безмятежно, как спящий бог.

За прозрачной стеной, от пола до потолка, простиралась ночная Москва. С высоты восьмьдесят четвёртого этажа город напоминал гигантский нейронный срез: светящиеся артерии магистралей, пульсирующие узлы транспортных развязок, мерцающие аксоны монорельсов, уходящие в темноту спальных районов. Девять миллионов человек. Девять миллионов пар глаз, закрытых сейчас — или открытых, глядящих в потолок бессонницей. Девять миллионов крошечных, хрупких, отдельных вселенных, которые он собирался связать в одну.

Нет. Не связать. Защитить.

Он поправил себя мысленно, потому что знал: если позволить формулировке соскользнуть, Александра услышит это даже на расстоянии, даже во сне. Она всегда слышала его оговорки.

«Ты создаёшь то, от чего он умер».

Фраза из будущего — из того спора, который ещё не произошёл, но который Дмитрий уже проигрывал в голове десятки раз. Он знал, что она придёт сегодня ночью. Знал с того момента, как три часа назад увидел её имя в списке уведомлений: «Невская А. — запрос доступа в лабораторию, уровень «семейный», ожидает подтверждения». Она не спрашивала разрешения. Она ставила его перед фактом. Так было всегда, с самой их первой встречи на четвёртом курсе, когда она ворвалась в аудиторию посреди его доклада о безопасности нейрофонов и заявила: «Ваша модель дырявая, как решето, и я сейчас докажу это при всех».

Доказала.

С тех пор они были вместе — двенадцать лет брака, пять из которых пришлось на войну. Не на ту, Тихую, закончившуюся до их рождения, а на войну идей. Войну этических комиссий, научных советов, публичных слушаний и ночных споров на кухне, где двое взрослых людей пытались перекрыть тени мёртвых.

Дмитрий перевёл взгляд на голограмму в изголовье стола.

Мужчина лет сорока пяти. Мягкая улыбка. Усталые, всё понимающие глаза — такие же серые, как у него самого, только глубже посаженные, окружённые сеткой преждевременных морщин. Григорий Соколов. Запись была сделана за три дня до того, как он... Дмитрий помнил этот день. Отец тогда впервые за долгое время смеялся — над какой-то глупой передачей про квантовую медицину, где шарлатаны обещали «стереть травму через резонанс». «Представляешь, Дима, — говорил он, — они думают, что можно просто нажать кнопку и всё исчезнет». Он смеялся, а через три дня его не стало.

«Кнопка, — подумал Дмитрий сейчас. — Просто нажать кнопку».

Он невольно коснулся сенсора на виске. Крохотный нейрошунт, его собственная разработка, отозвался привычной вибрацией. Через этот имплант он собирался подключиться к многограннику. Через этот же имплант, если всё пойдёт по плану, через месяц подключатся миллионы. Миллиарды.

«мама я вижу не то мама чьи это руки»

Шёпот ворвался без предупреждения — рваной строкой, без знаков препинания, без начала и конца. Мемориал. Эхо Мемориала Крика. Оно всегда приходило так: без спроса, в моменты, когда тишина становилась слишком плотной. Дмитрий замер. Не дыша. Прислушиваясь.

«мама почему они кричат замолчите замолчите»

Голос был женским — или детским, трудно разобрать. В Мемориале все голоса сливались в один спектр, где возраст и пол теряли значение. Оставалась только чистая эмоция — страх, удивление, боль, изредка — смех, самый страшный из всех звуков. Смех человека, который больше не понимает, где заканчивается его сознание и начинаются чужие.

Дмитрий закрыл глаза. Всего на секунду. Веки сомкнулись — и сразу же обожгло: не физически, а на уровне инстинкта, словно он совершил что-то запретное. Моргание запрещено. Фраза всплыла из глубин подсознания — не его собственная, а словно подброшенная кем-то. Он открыл глаза.

Многогранник мерцал. Шёпот стих.

— Ты тоже это слышишь? — спросил он вслух.

Тишина.

Конечно, нет. Многогранник был всего лишь устройством. Кристаллом. Кодом.

И всё же Дмитрий мог поклясться, что в глубине жидких нитей что-то изменилось. Будто эхо Мемориала прошло сквозь них — и отразилось, усилившись.

Он знал, что это невозможно. Протокол не был запущен. Подключения не было. Но где-то на границе рационального и интуитивного уже зарождалось предчувствие — смутное, неоформленное, — что его творение окажется больше, чем он планировал. Что Сеть, которую он строит, впитает в себя не только настоящее, но и прошлое. И, возможно, будущее.

Он вспомнил отца — его последние дни. Воспалённые, вечно открытые глаза. Бессонница, ставшая нормой. «Если я закрою глаза, они всё равно здесь. Веки не помогают. Нет такой двери, которую можно закрыть».

Дверь.

Отец был нейрохирургом, не программистом. Он мыслил телами, органами, тканями. Дверь для него была чем-то физическим — границей, которую можно запечатать. И когда он оставил ту записку — «Я всё ещё слышу их. Тишины не существует. Прости, Дима. Ищи способ закрыть дверь», — Дмитрий воспринял это буквально. Не как метафору. Как инструкцию.

Он потратил двадцать лет, пытаясь перевести инструкцию отца в код. Дверь — это фильтр. Дверь — это протокол, пропускающий эмпатию и блокирующий вторжение. Дверь — это то, что сейчас висело перед ним в магнитном поле, переливаясь радужными всполохами.

Он протянул руку. Пальцы почти коснулись холодной поверхности, когда сенсор на виске завибрировал — на этот раз тревожно, резко.

Уведомление: «Невская А. — доступ подтверждён. Время прибытия: 2 минуты».

Дмитрий отдернул руку, словно застигнутый за чем-то запретным. Сердце пропустило удар. Он быстро проверил свой вид в отражающей грани многогранника: щетина трёхдневная, рубашка мягкая, под глазами — тени, достойные покойника. Ничего нового. Александра видела его и в худшем состоянии.

Но что-то внутри сжалось. Страх? Нет. Ожидание. Ожидание боя, который он не мог выиграть, но и не мог принять поражение.

Он выдохнул. Налил воды из диспенсера. Выпил залпом, не чувствуя вкуса. Посмотрел в окно.

На Площади Молчания, внизу, горел свет. Проекторы выхватывали из темноты бронзовые фигуры — десятки человеческих тел, застывших в неестественных позах. Памятник Разомкнутым. Официально он назывался «Монумент Единства», но москвичи знали правду. У фигур были раскрыты рты — не в крике, нет. В беззвучном пении. Или в попытке что-то сказать тем, кто придёт после. Их глаза, выполненные из матового стекла, днём казались пустыми, а ночью, подсвеченные изнутри, начинали светиться, словно в каждом всё ещё теплился разум.

Одиннадцать миллионов.

Число, которое невозможно вообразить, но можно почувствовать. Оно имело запах — смесь антисептика, горелой проводки и человеческого пота. Оно имело звук — низкий, вибрирующий гул, на который накладывались тысячи голосов, слившихся в одну ноту. Оно имело вкус — вкус меди на языке, словно лизнул оголённый контакт.

Тихая война. 2054–2061. И причиной была не технология. Причиной была слабость протокола. Отсутствие двери. Он, Дмитрий Соколов, построил эту дверь. Оставалось только открыть её — и показать всем, что за ней не бездна, а порядок.

Двери лифта открылись бесшумно, но Дмитрий услышал — не ушами, а кожей, тем особым чутьём, которое развивается у людей, долго живущих вместе. Изменение давления воздуха. Едва уловимый запах — антисептик, лабораторный озон и что-то ещё, родное, домашнее. Она.

Александра не вошла. Она остановилась в проёме, опершись плечом о косяк и скрестив руки на груди. Светлые волосы были стянуты в небрежный узел, из которого выбились пряди — так всегда бывало, когда она долго работала. Под глазами — тени, под цвет его собственным. Она не спала. Возможно, тоже несколько ночей подряд.

— Ты не отвечал на вызовы, — сказала она. Голос был ровным, лишённым интонаций, и именно это спокойствие пугало больше всего. — Восемь часов.

— Прости. Калибровка.

— Врёшь. — Она кивнула в сторону голограммы отца, которая всё ещё мерцала в изголовье стола. — Ты закончил калибровку час назад. Я проверяла логи. Ты просто стоял и смотрел на него.

Дмитрий не ответил. Он смотрел, как в её зрачках отражается свет многогранника. Два крошечных радужных огонька в серой радужке.

— Можно мне войти? — спросила она с оттенком горькой иронии. — Или теперь в эту лабораторию пускают только тех, кто готов отказаться от приватности?

— Саша...

— Молчи. Сейчас я говорю.

Она вошла. Двери за её спиной с тихим шипением сомкнулись, отрезая их от остального мира. Александра Невская, ведущий биоэтик Московского центра нейротехнологий, его жена и самый беспощадный оппонент, подошла к многограннику и остановилась, глядя на медленно пульсирующие нити. В их плавных движениях отражалось её лицо, и Дмитрий заметил, как дёрнулся уголок её губ.

— Знаешь, что я сейчас чувствую? — тихо спросила она.

— Расскажи.

— Ужас. Чистый, животный ужас. Как будто я стою на пороге изолятора, где лежат Разомкнутые, и дверь открыта, и кто-то зовёт меня войти.

— Это всего лишь протокол. Код. Алгоритм.

— Код, который ты запускаешь завтра.

— Послезавтра. Мне нужно ещё...

— Неважно! — она резко развернулась. Её глаза, серые, почти стальные в холодном свете лабораторных ламп, впелись в его лицо. — Неважно, когда. Важно — зачем. Ты скажешь мне это, глядя в глаза. Не в голограмму, не в потолок, не в свой узел. Мне. Зачем ты это делаешь, Дима?

— Чтобы они не умерли снова. Чтобы одиннадцать миллионов...

— Одиннадцать миллионов мертвы! — её голос сорвался на крик, и эхо заметалось между стенами. — Их не вернуть. Нет такой технологии, которая отменила бы семь лет ада. Нет такой сети, которая воскресила бы Григория!

— Не смей.

— Что — не смей? Произносить его имя? Ты превратил его смерть в одержимость. Ты стоишь тут ночами, пялишься на призраков и убеждаешь себя, что создаёшь «порядок». Но это не порядок. Это... — она запнулась, подбирая слово. — Ты наматываешь свою боль на технологию, как нитку на крючок, и думаешь, что сплетишь сеть безопасности. А на деле ты сплетаешь ловушку.

— Ловушку для кого?

— Для всех. Для меня. Для наших будущих детей. Для каждого человека на этой планете.

Дмитрий шагнул к ней. Его голос задрожал, хотя он изо всех сил пытался удержать его ровным:

— Твой дед, Саша. Он пошёл в Разомкнутый круг добровольцем. Он пытался разорвать связь ценой собственной жизни. Ты хочешь, чтобы его жертва была напрасной?

— Его жертва была его выбором! — выкрикнула Александра. — Он сам решил войти. Он знал, на что идёт. А ты хочешь сделать этот выбор за всех — не спрашивая, не давая возможности отказаться. Ты создаёшь мир, где приватность станет синонимом опасности. Где каждый закрытый глаз будет восприниматься как угроза. Где «прозрачность» будет не защитой, а принуждением.

Она вдруг замолчала. Её плечи дрогнули — то ли от сдерживаемых слёз, то ли от внезапного озноба.

— Я видела сон, — произнесла она тише, почти шёпотом. — Странный сон. Снился человек... молодой парень, грязный, измождённый. Он прятался в каких-то тёмных тоннелях, словно крыса. И у него были разные глаза — один карий, другой серый. Он носил маску с зеркальным покрытием. И от него исходило такое... — она покачала головой. — Такое одиночество, Дима. Абсолютное, вселенское одиночество.

Дмитрий почувствовал, как что-то холодное пробежало по позвоночнику. Разные глаза. Зеркальная маска. Тоннели.

— Это просто сон, — сказал он, но голос прозвучал неуверенно.

— Конечно, сон. — Александра горько усмехнулась. — Но знаешь, что самое страшное? Я проснулась с мыслью: «Это будущее. Это то, что мы создаём прямо сейчас». Твоя Сеть, Дима, породит таких, как он. Людей, для которых закрыть глаза — смертный грех. Людей, которые откажутся смотреть и будут за это загнаны под землю.

— Ты драматизируешь.

— А ты слепнешь. В буквальном смысле. — Она кивнула на счётчик, всё ещё пульсировавший на голографическом интерфейсе. — Четыре и семь десятых моргания в минуту, Дима. Ты превращаешь собственное тело в прототип того, что навяжешь другим. Ты уже живёшь так, будто «моргание запрещено» — это не абсурдная фраза, а правило, которое ты сам для себя установил.

Он хотел возразить, но не успел.

Потому что в этот момент снова зазвучал Мемориал. Не тихий шёпот на грани слышимости, а полноценный фрагмент — резкий, ясный, заполнивший комнату. И на этот раз он звучал не внутри головы.

Он звучал из динамиков терминала. Сам. Без команды.

«я видел отца он стоял в толпе но у него не было лица я кричал но никто не слышал они все смотрели и улыбались»

Александра замерла. Её лицо побледнело.

— Ты... ты включил это?

— Нет. — Голос Дмитрия сорвался. — Нет, я не включал. Система сама... должно быть, глюк.

Он бросился к терминалу, проверил логи. Воспроизведение запущено в 02:47:03 — внутренним процессом, который не был инициирован пользователем. Исходный файл: *memorial_full_raw_2057-09-14_segment_771.vox*. Один из семисот миллионов фрагментов, на которые был разбит Мемориал Крика. Дмитрий знал этот файл. В нём мужчина, бывший учитель из Воронежа, описывал момент, когда его сознание слилось с сознанием собственного отца — тоже попавшего в круг Разомкнутых, — и он не мог понять, кто из них кто.

— Глюк, — повторил он, отключая воспроизведение. — Обычный глюк.

Александра смотрела на него — нет, сквозь него. В её взгляде читалось не обвинение. Хуже. Понимание.

— Это не глюк, — сказала она. — Это твоё подсознание. Ты построил Мемориал в код Сети, так ведь? Ты не смог стереть его, потому что сам живёшь внутри него. И Сеть, которую ты создаёшь, будет помнить. Даже если ты сам забудешь.

Он молчал.

— Дай мне посмотреть на твой журнал, — потребовала она. — Последние записи.

— Саша, это закрытая разработка, ты не имеешь...

— Дай. Мне. Посмотреть.

Он уступил. Не потому, что она имела право — формально нет, — а потому, что спорить не было сил. Александра активировала интерфейс, пробежалась по строчкам кода, по заметкам, по протоколам тестов. Её пальцы двигались быстро, уверенно — она понимала в нейротехнологиях больше, чем многие его сотрудники. Внезапно она замерла.

— Что это? — спросила она, указывая на фрагмент кода, выделенный маркером: аварийный рубильник приватности. — Ты построил в Сеть механизм отключения?

— Да. Это была часть сделки с Громовым. Государство требует возможность экстренного отключения частных сессий в случае угрозы безопасности. Я...

— Ты понимаешь, что это значит? — она повернулась к нему, и в её глазах стояли слёзы. — Этот рубильник — не защита. Это оружие. Сегодня Громов обещает «экстренные случаи». Завтра «экстренным случаем» станет любое инакомыслие. Послезавтра право на приватность будет отключено навсегда — потому что так проще, потому что так безопаснее, потому что так сказал Виктор Громов, у которого у самого крыша едет от страха.

— Громов потерял брата матери в Разомкнутом круге, — тихо сказал Дмитрий. — Он тоже хочет защититься.

— Защитить?! — Александра почти выплюнула это слово. — Он хочет контролировать. Он превращает свою травму в диктатуру — точно так же, как ты превращаешь свою. Вы оба — две стороны одной монеты. Два сына Тихой войны, которые решили, что имеют право решать за человечество.

— А ты? — Дмитрий внезапно почувствовал, как внутри поднимается волна гнева — не на неё, нет, на себя, на ситуацию, на безысходность. — Ты чем лучше? Ты просто боишься. Ты видела сон — и уже готова поверить в него как в пророчество. Ты твердишь «нет», не предлагая ничего взамен.

— Я предлагаю остановиться. Сейчас. Пока не поздно.

— Поздно было шестьдесят лет назад, — сказал он, и голос его надломился. — Когда хакеры «Открытых Глаз» взломали старый протокол и убили одиннадцать миллионов. Поздно, Саша. Я не могу отмотать назад. Я могу только идти вперёд.

Она подошла к нему вплотную. Положила ладонь на его щёку — точно так же, как делала это сотни раз до этого спора, до этой войны, до всех этих ночей, пропитанных озоном и отчаянием.

— Твой отец, — сказала она шёпотом, — говорил: «Ищи способ закрыть дверь». Но ты не закрываешь дверь, Дима. Ты срываешь её с петель и выбрасываешь. И если ты нажмёшь эту кнопку, если ты подключишься первым... дверь исчезнет навсегда. Не только для тебя. Для всех.

— Это мой выбор.

— Нет. — Она убрала руку. Отступила на шаг. — Это твоя травма. А травма не имеет права выбирать за всех.

Она повернулась и пошла к выходу.

— Саша!

Двери открылись. Она остановилась на пороге, но не обернулась.

— Завтра на совете я буду голосовать против, — сказала она. — И я буду продолжать голосовать против — каждый раз, пока у меня есть голос. А ещё я буду писать. Всё, что происходит, всё, что ты говоришь, — всё будет записано. Когда-нибудь это прочитают. Может, через сто лет. Может, через двести. И пусть они судят.

— Его последние слова, — сказал Дмитрий ей в спину. — «Ищи способ закрыть дверь». Понимаешь? Он не сказал: «Уничтожь технологию». Не сказал: «Бойся открытости». Он сказал: «Закрой дверь». Я просто делаю то, о чём он просил.

— Тогда почему, — она наконец обернулась, и в её глазах стояли слёзы, — почему мне кажется, что ты ведёшь нас прямо в ту комнату, откуда доносится крик?

И ушла.

Двери сомкнулись.

Тишина навалилась с новой силой — теперь она была не просто отсутствием звука, а отдельным существом. Студенистым. Плотным. Живым.

Дмитрий остался один. Он подошёл к креслу, сел напротив многогранника. Тот всё так же мерцал, безмятежно и равнодушно. Жидкие нити внутри двигались по заданной траектории, не подозревая о буре, которая бушевала снаружи — и внутри.

Он включил Мемориал. Осознанно. На этот раз — сам.

И комната наполнилась голосами. Сотни голосов, сплетённых в один. Сначала тихо, почти неразличимо, затем громче. Кто-то смеялся — неестественным, захлёбывающимся смехом. Кто-то читал стихи на незнакомом языке. Кто-то повторял одно и то же слово — «хватит, хватит, хватит» — пока голос не сорвался в сип. Детский плач накладывался на старческий шёпот. И поверх всего — крик. Не громкий, не истеричный. Скорее — бесконечно удивлённый. Крик человека, который не понимает, где заканчивается его сознание и начинается чужое.

Дмитрий слушал. Слёзы текли по его щекам, но он не вытирал их. Он знал эту запись наизусть — каждый обертон, каждый всплеск. Когда-то, в юности, он поставил себе задачу: прослушать Мемориал полностью, все семь лет, в ускоренном режиме. Бросил на третьем месяце. Психика не выдержала.

И всё же сейчас он слушал. Потому что в этом крике ему чудилось что-то новое. Какой-то ритм. Какой-то паттерн. Словно Мемориал был не просто записью, а... кодом. Посланием. Тем, что пыталось пробиться сквозь века.

«открой глаза открой глаза не закрывай их если закроешь они увидят»

Дмитрий вздрогнул. Этот фрагмент он не помнил. Его не было в архивах — он проверял.

Он остановил воспроизведение. Проверил метаданные. Файл был стандартным, из открытого реестра Мемориала. Но голос... голос звучал иначе. Словно кто-то говорил не из прошлого, а откуда-то ещё.

— Кто ты? — спросил он в пустоту.

Тишина. Многогранник мерцал.

Дмитрий вытер лицо. Налил ещё воды. Подошёл к панорамному окну. Памятник внизу светился ровным матовым светом. Где-то на уровне пятидесятого этажа проплывал рекламный дрон — нёс голографический транспарант: «Никогда больше. День ТВОЕЙ Прозрачности — 15 октября. Будь готов».

Через месяц. Всего через месяц запуск гражданской версии. Если тест пройдёт успешно. Если он переживёт этот тест.

Он вспомнил сон Александры. Человек с разными глазами. Тоннели. Маска. Абсолютное одиночество.

«Это просто сон», — повторил он себе.

Но где-то глубоко, под слоями логики и кода, уже зрело предчувствие: Сеть, которую он создаст, будет видеть будущее. Или создавать его. Или и то, и другое одновременно — как петля, у которой нет начала и конца.

Он вернулся к терминалу. Открыл лабораторный журнал. Пальцы зависли над сенсорной панелью.

«15 октября 2115 года, 03:12. Калибровка подтверждена. Протоколы безопасности проверены. Первое подключение запланировано на сегодня, 22:00. Доброволец — Соколов Д. Г. В случае неудачи...»

Он остановился. Подумал.

И добавил — не рукой, а голосом, записывая аудиозаметку:

«Я знаю, что это звучит безумно, но... мне кажется, что я уже делал это. Когда я смотрю на узел, я чувствую, что он смотрит на меня в ответ. Не как машина. Как зеркало. Как будто чьи-то глаза — другие глаза, не мои — смотрят из будущего и ждут, когда я нажму кнопку».

Он сохранил запись. Отключил терминал. Погасил свет.

В темноте лаборатории остался только многогранник — мерцающий, живой, ждущий первого прикосновения. На его гранях, словно в глубине кристалла, на мгновение отразилось что-то, чего не было в комнате: лицо человека с разными глазами, грязное, измождённое, смотрящее прямо сквозь время.

Дмитрий не видел этого. Он уже вышел.

За панорамным окном занимался рассвет — серый, мглистый, равнодушный. Последний рассвет перед первым шагом. Последний рассвет, который он увидит как отдельный человек. Даже если тест пройдёт успешно, он знал: что-то изменится навсегда. Не только в мире. В нём самом.

Он зашёл в лифт. Двери закрылись. В зеркальной стене кабины он мельком увидел своё лицо — и остановил взгляд. Всего на мгновение ему показалось, что серые глаза в отражении смотрят иначе. С более глубоким, древним знанием. Словно кто-то другой — или он сам, но из другого времени — уже стоял на этом месте. Словно шаг, который он собирался сделать, был сделан давным-давно, а сейчас только повторялся. Петля. Кокон. Круг.

Моргание запрещено.

Он закрыл глаза — и открыл их уже на первом этаже.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.